

У Евгения Габриловича — завидная судьба. Родившись на исходе прошлого века, он был причастен к бедам и радостям, победам и потрясениям века двадцатого. Газетчик, писатель, драматург, он стал признанным классиком советского кино. По сценариям Габриловича созданы «Твой современник» и «Мечта», «В огне брода нет» и «Начало», «Ленин в Польше» и «Монолог». В свои 92 года Евгений Иосифович поражает кипучей работоспособностью, блестящей памятью, тонким и острым пером. Убедиться в этом сможет каждый, кто прочтет его ироничные, парадоксальные воспоминания о пережитом, публикуемые ниже.

Там, наверху

Всю жизнь мне казалось, что там, наверху, в заоблачной вышоте, знают, предвидят и понимают зорче, отчетливее, дальновиднее, чем я.

Но вот просвистела жизнь, и стало кристально понятно, что там знают, предвидят, слышат и думают куда как пугливее и кашеобразнее, чем мы тут, внизу. Особенно ясно сделалось это после «путьца».

Расчул я это, и как-то немного уютней мне стало внизу. Не совсем, чтоб уж очень, но все же...

Евгений ГАБРИЛОВИЧ:

ЗАМЕТКИ БЕСТОЛКОВОГО ЧЕЛОВЕКА

В доме

для выздоравливающих

Дом для выздоравливающих Бывших Руководителей. Возле Звенигорода, на Москве-реке.

Попал я туда не по чину, а с условием, что расскажу на лекции выздоравливающим о своей киноработе над образом Владимира Ильича.

Вообще-то я боюсь лекций. Тем более о Владимире Ильиче: мало правды знаю о нем, хотя действительно был соавтором трех ленинских фильмов. Дело в том, что мы с режиссером С. И. Юткевичем, наткнувшись на секретность, закрытость всего, чем являлся подлинный Ленин, решили писать о нем, как чувствуем и понимаем. Таков наш принцип в Лениниане, представьте себе.

И этот принцип я попытался втолковывать выздоравливающим, пришедшим на кинолекцию в санаторий для Руководящих Лиц, а их пришло много, зал был переполнен. Должен сказать, что руководящий, да к тому же и выздоравливающий, самый жеждливый, подозрительный слушатель.

Я сначала было решил, что следует обойти рискованный пункт достоверности, но, как всегда, меня захлестнуло, я взлетел и, увлекшись, признал, что в работах над сценариями об Ильиче мне до тех пор не удавалось поймать магистральную нить, пока я не ухватил, что Ленин — это я. Что все, о чем думает он, — это я. Сомнения, надежды, уверенность, отчаяние — я. И как только я это внутренне осознал, работа пошла.

И вообразите — едва я вымолвил это нахальное утверждение, как в зал вошел один из самых близких соратников Сталина. Правда, он уже состоял в отставке, избалованный и выздоравливающий, но именно он когда-то всегда был рядом со Сталиным. И даже более рядом, нежели те, кто тоже был рядом, однако не так. Словом, вошел Каганович.

Он застыл в дверях, услышав мои слова о том, что Ленин есть я. Поперхнулся и я. Но опомнившись, взбормотнул нечто сглаживающее, что-то подобное тому, что Ленин вроде бы я, но это, конечно, кажущееся, призрак, мираж. На самом-то деле Ленин есть Ленин, а я есть я — тот, кто обречен путаться и сбиваться в том, что Ильич давно махом, навек разрубил.

На этом дело и кончилось, последствия не возникли. И только потом, за обедом, сосед, вошедший в зал с Кагановичем, рассказывал, что тот спросил обо мне:

— Кто этот болван? Надо бы разобраться!

На мое счастье, директива эта так и повисла в воздухе: тот, кто был даже более рядом, чем те, которые тоже были плечом к плечу, подзабыл, что он уже не Соратник, а всего отставной выздоравливающий, и, значит, его указания имеют не больше веса, чем полет ветерка.

Ветерок, знай себе, сильно бил в то лето, а я, как видите, уцелел. Но зарубил на носу, что в нашей стране, сколь бы ни поворачивались события, надо на веки веков быть осматрительней в своих всплесках. Особенно в Доме Руководящих. Особенно когда они выздоравливают.

Новый год

В молодости, в двадцатые годы, холостяком, я никогда не встречал Новый год в одном месте. В двенадцать ночи я чокнулся за домашним столом, потом отправлялся к друзьям, потом вместе с ними к другим друзьям, потом к третьим — веселья, хохота, по старой узкой бульварной Москве.

Так было в молодости, а потом я надолго стал литератором, и Новый год настигал меня и в степи, и на море, в городах и долинах, в аулах и деревнях. Со знаменитыми и незаметными, дорогими мне и случайными людьми. Все это с годами стерлось, забылось...

И все же одна встреча Нового года застряла в уме.

В январе тридцатого года я был послан редакцией на

лективизацию. В Заволжье, далеко за Самару. Сельсовет долго чесал затылок, исследуя мой мандат, а потом определил меня на постой на околицу, в раздранную избенку, к мелкому ростом, молчаливому и взъерошенному мужичонке-вдовцу. Жили мы с ним неразговорчиво. Немногословно. Однако без ссор.

Впрочем, встречались редко: я был в газетных заботах, да и у него было, видать, немало хлопот. Шла сплошная коллективизация. Собрание за собранием — прокуренные, пропахшие валенками и овчиной, в дыму, до глубокой ночи,

землянках, портянках, печурках? В бомбежках на переправах? Нет. Я понял войну всю до дна — самого полного, нестерпимого, всю ее лютость, ужас, невыносимость для человека, увидев в окопе глаза солдат перед тем, как должен был прозвучать сигнал к рукопашной атаке. В этих глазах была вся война, и если бы имелась на свете сила их задержать, застопорить на лету и передать бумаге или экрану, то достаточно было бы только этих глаз, чтобы рассказать о войне непомерно полной, отчаянной, проникновенной, чем миллиардами строчек, слов о бойцах, генералах, взрывах, штабах и крови.

В этих глазах солдата жила вся война с затылка до живота — страх, прощание, дерзость, надежда, отчаяние, последнее солнце над головой, последний промельк всего, что было, прошло и что останется жить без тебя, как это облако, эта побитая бойней трава, по которой надо в последний раз с



при свете керосиновых ламп.

Коллективизация двигалась туго, до триумфального рапорта было далече, и вот как раз в предновогодний вечер состоялась особенно штормовая сходка крестьян. С криками, бабьим воем, руганьем, поношениями и даже драками, возникающими вдруг тут и там.

На это собрание прибыл Уполномоченный из области: в кожаной куртке, с контрольными цифрами в портфеле и с наганом на бедре. В который раз обсуждался в колоте ламп вопрос о колхозе. Уполномоченный обещал близкий рай, однако угрожал всем, кто не хочет вступать, анафему и кару рабочего класса. Называл кулаками и подкулачниками. Женщины завывали в ответ, а мужики вскакивали, что-то выкрикивали и снова садились. Было жарко, потно, овчинно, махорочно и не очень понятно, почему всем так не хочется в рай.

И вдруг я увидел, как мой хозяин-молчун прополз на эстрадку (дело было в сельском нардоме) и стал говорить. Он говорил, что не получится толку, если в одном хозяйстве будет прорва хозяев, что пусть бы клок пашни, да свой, что не след отбирать у народа коров, лошадей, хлеб и сеялки, что пойдет недород и что тут-то хватятся, да уж поздно; и что зря отряхают Уполномоченных — они хоть с наганами, но ни хрена не маракают и только пугают людей. «Отыми у них револьверы, тогда взглянем, какие они!».

Все это, сбиваясь, невнятно и бормоча, сказал мой взъерошенный. Он говорил хотя путанно, но с таким отчаянием сердца, что грянули аплодисменты. А Уполномоченный — тот, что с наганом, вросшим в бедро, — бросил ему:

— Ну, брат, да ты подкулачник!.. Как же вы его проморгали? — грозно спросил он у сельсовета.

Собрание кончилось. Разошлись по домам. Потаскились и мы с моим недомытым. Было очень морозно, снег повсвистывал под подошвами. Пришли, пожевали картошку, улеглись — хозяин на печке, а я на лавке. Заснул.

Проснулся от неясного бормотания. Хозяин в рубашке, в исподнем, босой, стоял на коленях перед иконой с трепещущим светом лампы и шепотом, быстрым, отчаянным, осторожным, молил Господа Бога заслонить его от бед. И говорил Богу все, что твердил на собрании. Что он не против колхозов, пушай, но как жить, если все не свое? Если нет своего ни в душе, ни в доме — нигде? Что он хочет жить так, как жил. Пусть глупо, да как умеет. И чтобы без резолюций. Чтобы не лезли в душу — мозги у каждого свои. Нехай вислухоие, да свои.

И еще он говорил о том, что какой же он подкулачник, если всю жизнь ишачил и жена ишачила и на том померла; что он за советскую власть, а высказался за единоличие потому, что так понятнее человеку. Ясней, где свое, где чужое.

И чтобы Бог защитил его от тюрмы.

— Ой, беда, Господи! Ой, беда, беда!

И мне показалось, что теперь, когда он говорил не с собранием, а с иконой, у него получалось еще пронзительней и с такой тоской, что даже Уполномоченный с его контрольными цифрами и наганом разжалобился бы. Простил бы его. И даже, возможно, поцеловал бы, если это не противоречит партуставу.

— Ой, беда, беда, беда!

Я взглянул на часы. Была полночь. Так встретил я Новый — тысяча девятьсот тридцатый год. Начиналось десятилетие Великого Перелома, завершено тридцать седьмым и тридцать восьмым.

Однажды на войне

Ей-Богу, я видел войну не хуже других, хотя, сознаю, было всего лишь корреспондентом. И видел ее и писал о ней шаг за шагом — от Москвы до Берлина. Но только однажды увидел ее не как все. Где же? Когда? В атаках, взрывах, штабах,

криком «Ура!» пробежать.

И мольба ко всему, во что с детства учили не верить: молитва, чтобы не убили.

Все было в этих глазах. Все, кроме храбрости.

Так, повидав столько разного и ужасного на войне, я в первый раз увидел ее, какая она в человеке.

Об этом я написал. И послал в редакцию. Но не поместили. Чтобы не было пессимизма.

Прием

Сталина я видел близко всего два раза: один раз у Горького на Спиридоньевке, другой раз в Кремлевском дворце на приеме писателей.

Приемы там, во дворце, происходили в Георгиевском зале. Стояли длинные столы, где ужили писатели, а перпендикулярно к ним, отгорожено — короткий правительственный стол. Обычно оттуда, с правительственного, звучал первый тост, а отсюда ответные благодарности. Все это было с помпой, но ритуально, с уяснением того, как велика дистанция, разделяющая тех, кто источает восторг, с теми, кому он предназначен.

В тот вечер правительство, подведя черту трапезе и директивам, вышло из отгородки и смешалось с литературой. Пришел и Сталин, свойский, открытый, шутливый и, я бы даже сказал, простодушный в своем френче и сапогах.

И подумать — случилось так, что я неожиданно-негаданно оказался вплотную со Сталиным. Рядом с правым его сапогом.

И вот что последовало в тот вечер в Георгиевском зале, среди настенных мраморных плит с золотыми фамилиями героев первой Отечественной войны.

Один из именитых писателей (конечно, вы его знаете, однако при всей бесспорной моей болтливости я все же скрою его фамилию, да и зачем она вам?) — так этот писатель, стремясь придать своей встрече с Вождем еще более близкий, сердечный, я бы даже сказал родственней, тон (а это было немаловажно перед лицом клубившихся тут же собратьев), с заботой и бережностью спросил:

— Как ваше здоровье, Иосиф Виссарионович? Говорят, вы болели?

Сталин вдруг смолк. Срезал какую-то свою шутку. Оборвал смех. Помолчал. Вынул трубку изо рта. Опять помолчал. Потом поднял глаза на того, кто спрашивал о его самочувствии. И я увидел близко эти глаза. Мне повезло: не думаю, чтобы многие видели их так рядом, вплотную.

Да, это были глаза!

— Я бы на вашем месте позаботился о своем здоровье, товарищ! — холодно сказал Сталин и отошел в загородку. Во френче и сапогах.

Мы замерли. Сочинитель, что спрашивал, тоже застыл. И с год или два после этого не ведал покоя и допытывал всех — родных, друзей, знакомых, соратников по наградам и славе, — в чем значение этих слов: «Позаботился о своем здоровье»? Где скрытый их шифр? Что предвещают они? Немилость, расправу? Арест? Лубянку? Лесоповалы, зоны, карцеры? Смерть?

И каждый, кого он спрашивал, толковал сей ребус по-разному. Но никому не пришло на ум, что это, возможно, всего лишь действительная забота о самочувствии писателя, которого (внятно или невнятно) знает страна. Однако на всякий случай его перестали печатать.

Впрочем, этот оплошный писатель жил долго и помер своею смертью...

Невыносимо

Я помню, как удивился, когда в тридцать пять лет, в девяносто тридцать пятом году, сосед по трамваю попросил меня:

— Подвинься, отец!

Отец! Неужели я так одряхлел, что меня уже называют отцом?

Сегодня опять удивился, когда медсестра в больнице спросила меня поутру:

— Как здоровье, дедушка?

Дедушка! Неужто с тех тридцати пяти уже прометнулась жизнь? Вся жизнь! Невыносимо!